

ЗАМЕТКА СОБИРАТЕЛЯ¹

<...> Летом 60 года я получил от местного начальства официальное поручение — собрать данные об источниках, из которых составляются ведомости статистического отчета. Командировка эта представляла мне возможность не только побывать в уездных городах Олонецкой губернии, но и заглянуть в деревенский быт. Решившись воспользоваться ею для собрания этнографических материалов, я рассудил оставить почтовый тракт и ехать по губернии проселочными дорогами и водою. Это давало мне средства всмотреться в быт крестьян и отчасти избавляло от официальности. Известно, как трудно добиться каких-нибудь верных сведений от народа «барину», и тем более чиновнику. Его звание, подорожная, вся обстановка его езды как-то не внушают к нему народного доверия; крестьянин всегда склонен к подозрению, что у чиновника есть, пожалуй, какое-нибудь «касательное» до него дело, а если касательного дела и нет, то самая личность чиновника, его понятия, его привычки делают его чужим для крестьянина. Неужели же, скажут иные, после этого для собрания этнографических данных нужно переряжаться в русское платье и подражать внешности простолюдина. Переряживанье и подражанье, разумеется, никуда не годятся. А можно носить русское платье, и тогда это небесполезно для изучения народного быта в великорусских областях. По крайней мере, мне лично это помогало в сношениях с черниговскими слобожанами, хотя и повлекло за собою важные неудобства. Но главное дело не в платье: надо носить в себе уважение к самостоятельности религиозных верований народа, к особенностям его быта, к тяжкому труду землепашца, работника и ремесленника, и отбросить в сторону некоторые кабинетные предрассудки и барские замашки. Тогда крестьянин не откажется признать своего брата и в человеке, получившем университетское образование, и охотно расскажет ему, что нужно.

Итак, в свежее майское утро отправился я на общественную пристань в Петрозаводске и стал приискивать лодку для переезда на Пудожский берег. Хотя лед еще не вполне потонул на озере, однако у пристани виднелось уже много сойм и лодок. На них приехали Заонежане, Повенчане и крестьяне с Пудожского побережья. Эти бесстрашные мореходы, как только дождутся того, что лед на озере проломается, тотчас же отправляются в Петрозаводск за мукою, и с собою привозят мясо, масло, яйца, рыбу и другие припасы. Гребцы у них не наемные: и на поезде, и на возвратном пути хозяева берут в гребцы родных и знакомых соседей, которые за свою работу переезжают даром до города или до дому. На этот раз из Пудожского побережья была только одна сойма. Устроена она была не совсем-то ладно; вместо палубы на ней был навес из плохо сколоченных досок, помещение под навесом было сырое и грязное,

наруса сшины из лохмотьев, руль наложен кое-как, весла самодельные. Знакомые мои отговаривали меня всячески от поездки водою: по их словам, озеро Онежское очень бурное, перемены ветра совершенно неожиданные, а в разных местах рассеяно множество «луд» (мелей) и подводных камней. Но хозяин соймы, Иван из «Пестьян» (Песчанской волости), понравился мне своим приветливым обращением и словоохотливостью, и я скоро уговорил его перевезти меня в Пудожгорский приход. Плату за провоз он выпросил самую ничтожную (3 р. с.), да и та предназначалась им для гребцов. Долго-долго дожидался я «поветери»: несколько дней, как нарочно, дул сток, зимняк и меженец, а нам нужен был шелоник, запад, или полден. На четвертый день ветер стих, и лодочники решились пуститься в путь на гребле, а их было трое мужчин и одна женщина. В светлую и холодную весеннюю ночь мы простились с баженным (милым) городком и поехали к Ивановским островкам. Поднялся «стртный» ветер. Чем больше мы подвигались вперед, тем сильнее он разыгрывался, и только к утру, часов через шесть самой утомительной работы, измученные гребцы пристали к Шуй-наволоку, пустынному, болотистому и лесистому острову, в 12-ти верстах от Петрозаводска.

На острове стоит закопченная «фатера», домик, куда в меженую и осеннюю пору, при затишье, противном ветре и буре, проезжающие укрываются на ночь. Около пристани было много лодок из Заонежья, и «фатера» народом полным-полна. Правду сказать, она была чересчур смрадна и грязна, и, хоть было очень холодно, но не похотелось мне взойти в нее на отдых. Я улегся на мешке возле тощего костра, заварил себе чаю в кастрюле, выпил и поел из дорожного запаса, и, пригревшись у огонька, незаметно заснул; меня разбудили странные звуки: до того я много слыхал и песен и стихов духовных, а такого напева не слыхивал. Живой, причудливый и веселый, порой он становился быстрее, порой обрывался и ладом своим напоминал что-то стародавнее, забытое нашим поколением. Долго не хотелось проснуться и вслушаться в отдельные слова песни: так радостно было оставаться во власти совершенно нового впечатления. Сквозь дрему я рассмотрел, что в шагах трех от меня сидит несколько крестьян, а поет-то седатый старик с окладистою белою бородою, быстрыми глазами и добродушным выражением в лице. Присоседившись на корточках у потухавшего огня, он обворачивался то к одному соседу, то к другому, и пел свою песню, перерывая ее иногда усмешкою. Кончил певец, и начал петь другую песню: тут я разобрал, что поется былина о Садке купце, богатом госте. Разумеется, я сейчас же был на ногах, уговорил крестьянина повторить пропетое и записал с его слов. Стал расспрашивать, не знает ли он чего-нибудь. Мой новый знакомый, Леонтий Богданович, из деревни Середки, Кижской волости, пообещал мне сказать много былин: и про Добрынюшку Никитича, про Илью Муромца и про Михайла Потыка сына Ивановича, про удалого Василия Буславьевича, про Хотенушку Блудовича, про сорок калик с кали-

кою, про Святогора богатыря, да знал-то он варианты неполные и как-то не доказывал слов. Потому я напечатал впоследствии только те из его былин, которые дополняли своими подробностями другие варианты, или представляли совершенно новое содержание. Впрочем на первый раз и записывалось как-то неохотно, а больше слушалось. Много я впоследствии слыхал редких былин, помню древние превосходные напевы; пели их певцы с отличным голосом и мастерскою дикцией, а по правде скажу, не чувствовал уже никогда того свежего впечатления, которое произвели плохие варианты былин, пропетые разбитым голосом старика Леонтья на Шуй-наволоке.

На рассвете около костра собралось много проезжих, большую частью из-за Онеги: народ все был приветливый, радушный, вел веселую беседу, держал себя с удивительным тактом и, по врожденной вежливости, при первом свидании не расспрашивал о цели моей поездки. Я им сам объяснил, что вот-де еду по губернии по ученому делу: — для правительства нужны верные сведения о числе народонаселения, о его прибыли и убыли, о его здоровье и долговечности, наконец о его благосостоянии, и вот я за тем еду, чтобы проверить, как эти сведения собираются в нашей губернии. Крестьяне не только поняли мои слова, но даже один из них, грамотный крестьянин с Пудожского берега, тут же объяснил мне, что этих делов у них из волости ежегодно требуют и становой, и окружной. «Ну, говорит, наш писарь (старшина-то наш неграмотен) сейчас и отпишет им, что следует». — Да откуда же он знает? — «Нашему да писарю не знать: у него есть тоже подначальные писаря. Вот он с ними посоветует, да и отпишет, как ему надобно». — Ну, а как ты полагаешь: пишет-то он правду? — «А кто его ведает: по другим-то делам он редко пишет правду». Когда крестьяне убедились, что у меня до них никакого «касательного» дела нет и что я совсем не полицейский чиновник, то сделались еще разговорчивее и сами повели речь о разных народных поверьях: в короткое время можно было составить себе понятие о целой Заонежской демонологии. Им совсем не казалось странным, отчего я их расспрашиваю про их быт и поверья, потому что они убедились, что мне хорошо известны многие их обычай и сказания.

Пока мы беседовали у костра, совсем рассвело, а попутного ветра все не было. Мои новые знакомцы стали меня уговаривать — проехать с ними в Заонежье и оттуда уже переправиться к Пудожгоре. «Сойма у нас славная, — ласково говорили они мне, — нас целые три перемены гребцов, и мы тебя к вечеру же представим в Кизи». Такой радушный, откровенный народ были эти кижане, что меня так и потянуло побывать у них в Заонежье. Сама собою у меня сложилась твердая уверенность, что я найду там много интересных памятников народной поэзии, и явилась непременная решимость их разыскивать. Не думая долго, я рассчитался с прежним хозяином и сел в сойму к Ошевневу (так звали владельца новой соймы). Его лодка была поменьше старой, без палубы и вся зава-

лена кулями с мукою. Гребцы были все из соседей или однодеревенцев Ошевнева. Одни из них работали веслами, другие закусывали и весело перекидывались с ними прибаутками, а третий опочивали на кулях. Сам хозяин все хлопотал об угощении работников и баб. Леонтий Богданович то присоединится к гребцам и подзадоривает их спеть песенку, то перейдет ко мне и прерывающимся голосом заведет какую-нибудь старину, то примется болтать с бабами. Ему уже лет семьдесят с хвостиком, а он все еще здоровый, крепкий мужик. Соседи его звали человеком волокитным, т. е. былым и работающим. На веку своем он натерпелся-таки вдоволь: был он и на посылках у какого-то чиновника, ходил и на рыбные промыслы на Ладожское озеро, жил и в артельщиках в Петербурге и хаживал «со щетью»² по деревням. Хороших дней у него в жизни было немного. «Я гол как сокол, — говорил он мне, — а семья-то у меня не малая: с сыниной семьей десять ртов, десять животов». Но при постоянных неудачах никогда не покидала его веселость. И теперь он пел и заигрывал с бабами, а у другого бы кошки на сердце скребли. Поехал он в Петрозаводск за мукою, и подвернулся ему на грех «хороший человек», и деньги на муку у него пошли «во царев кабак». Несмотря на это, он упорно звал меня к себе в гости, и взял слово, что я ни у кого, кроме его, не остановлюсь. «Ты только заверни ко мне, — там я и сам тебе былинок напою и найду тебе таких сказителей, что супротив их не будет в целом Заонежье. Повезу тебя по всем Кижам, по всем губам и по всем островам. Хошь медную руду покажу, где она добывается, а захощь, так свезу на Святой наволок. Там, П. Н., растут всякие полезные травы, в старое время их и в Питери брали». При дружной гребле лодка живо подвигалась по водам озера, и к полудню мы дошли к луде «Монаху», где считается половина пути от Петрозаводска. «Монах» — это длинная и узкая мель, едва-едва она поднимается над поверхностью воды; посредине она разорвана большой трещиной. С девятым валом волны шумно вливаются в пропасть и с шумом выливаются обратно в озеро. В бурную погоду много лодок погибает у этой мели.

Дорогой мы приставали еще к островку Ярь-наволок и Гарницкой луде, а к вечеру въехали в Кижскую губу. Онегом все дули холодные ветры, местами еще плавали льдины: было холодно, и мы все кутались. Кроме воды и неба ничего не было видно: по крайней мере я, по близорукости своей, ничего не мог рассмотреть в дали, кроме длинной полосы берега, который то приближался, то исчезал. Но как только мы въехали в Кижскую губу, и воздух, и окружающая местность изменились, как будто бы по-щучьему веленью. Стало тепло, гребцы распоясились и посыдали кафтаны. Узкая полоса залива или, лучше сказать, пролива тянулась в неизмеримую даль. По обеим сторонам его выступали гористые берега самых причудливых очертаний, они были изрезаны небольшими заливами, наполнены островками. Тут вдавалась глубоко в берег заберега, там мы плыли «по тихой по заводи», а где тихая заводь,

там есть и «затресье», только в мае месяце затресье были покрыты не зеленою «трестою», а белою, высохшею от мороза и ломавшуюся от удара весел. По берегам виднелись деревни, выселки и починки. Избы в иных местах надвинулись к самой воде, и от них идут в озеро длинные «мостовища», куда пристают лодки. И над всем этим господствовала угрюмая, величественная северная природа, синева сосен, суровое очертание скал, да извилины озера. Так плыли мы к Кижскому погосту, а Леонтий Богданович пел в хоре.

Не кукушечка в сырьом бору скуковала,
Ай, не соловьюшко в зеленом садочку жалко свищет,
Ой, добрый молодец в неволюшке слезно плачет.
Растоскуйся-ко, моя сударушка, да разгорюйся,
Уж я сам, ах, пошел, моя сударушка, да сгоревался,
Уж пошел я, сгоревался-стосковался,
Ох, малешенек сын у батюшки приостался,
Я родной-то своей матушке не вспомню,
А кто меня, сиротинушку, воспоил-воскормил?
Воспоил-воскормил сиротинушку православный мир,
Воспомнила добра молодца Волга матушка-река,
Завила желты кудри красна девица-душа.

К ночи мы подъехали к деревне Середке. Ошевнев высадил меня тут, а сам поехал домой. Выход на сушу не обошелся без приключений. Спутники разобрали мои вещи, чтобы перенести их к Леонтию Богдановичу. Дорожную сумку, где была записная книжка, немного чаю и несколько пачек с сигарами взяла ветхая старушка; а я ей наказывал лучше не брать: «ты, мол, уронишь». И действительно, только вступила она на мостовище, как сумка вылетела у ней из рук и пала в воду. Невольно у меня сорвалось с языка: «Говорил тебе, бабушка, не брать. Эх, унеси тя». Старуха чуть не взмыла и стала мне выговаривать. «Эх ты, мой жадобненькой, красное солнышко! Ты зачем это выговорил? Дорожному человеку неличе кликать лембоя»³. Пришлось ее успокаивать, а Леонтий Богданов дорогой мне объяснил, что заклятие дорожного человека действительно великое дело; что вот ряпушка в заливе около Кинжей лет 25 не ловится и совсем неайдет в пролив, а заклял ее тоже дорожный человек. «Сидят эти наши старики возле костра, — говорил он, — и хлебают уху. И подходит к ним проезжий: вот они месечко ему около костра дали, а ухой-то и не попотчевали. Сидят они и глотают «вологу» ложка за ложкой, а он смотрел-смотрел на них, да и говорит: «Видно рыбки-то у вас мало становится, так и будет». И с той поры за ряпушкой ездим в большое Онего».

«Есть у нас два таких сказителя, — говорил мне в тот же вечер Л. Богданов, — что супротив их не будет в целом Заонеге. Один — Кузьма Иванов Романов, живет в деревне Лонгасы, в Сенногубском погосте, а езды к нему отселева на полчаса времени; другой — Трофим Григорьев Рябинин из нашей же деревни Середки». — Слези-ка меня завтра же к этому Рябинину. — «Нет, П. Н., мне по утру не слободно, да и надо сначала мне к нему наведаться: мужик он гордый и упрямый. Коли его наперед не уломать, так ты ничего ст него не добьешься».

Леонтий ушел рано из дома и, воротившись домой к пабедью, объявил, что Рябинин придет сегодня же к нему в избу. Днем я бродил по деревне и познакомился с многими однодеревенцами Леонтия, а вечером они целою гурьбою пришли к нам в гости. Стали они мне передавать разные местные предания о панах, о Петре Первом, как через порог избы переступил старик среднего роста, крепкого сложения, с небольшой седеющей бородой и желтыми волосами. В его суровом взгляде, осанке, поклоне, поступи, во всей его наружности, с первого взгляда были заметны спокойная сила и сдержанность. «Вот и Трофим Григорьевич пришел», — сказал мне Леонтий.

После обычного обряда знакомства, я рассказал Рябинину про любовь свою к старинным песням и стал убедительно просить его спеть о каком-нибудь богатыре. «Негоже нонь сказывать мирские песни, — отвечал он, — ноне пост: наб стихи петь». Тут, как сумел, я объяснил ему, что если не грех петь стихи, так не грех и былины сказывать. «В стихах, Т. Г., — говорил я, — поют, в назидание слушающим, о святых людях; да ведь и в былинах сказывается о вечевной старине, о древних князьях и святорусских богатырях. Сам ты знаешь, что в былинах на конце припевается: «Синему морю на тишину, а всем добрым людям на послушанье». — Или Рябинина убедили мои доводы, или ему самому захотелось развернуть свое уменье перед внимательным и сведущим слушателем, только тут же стал мне сказывать о Хотене Блудовиче. Он выговаривал былину пословечно, я записывал наречно, а когда он кончил, я попросил его спеть, и по петому поправил свою запись. Напев былины был довольно однообразен, голос у Рябинина, по милости шести с половиной десятков лет, не очень звонок; но удивительное умение сказывать придавало особенное значение каждому стиху. Не раз приводилось бросить перо, и я жадно вслушивался в течение рассказа, затем просил Рябинина повторить пропетое и нехотя принимался пополнять свои пропуски. И где Рябинин научился такой мастерской дикции: каждый предмет у него выступал в настоящем свете, каждое слово получало свое значение!

В тот же вечер Рябинин пропел мне о Иванушке Годиновиче, боярине Ставре, Садко и Михайле Потыке. В следующие дни он приходил ко мне по вечерам без зова и сам вызывался рассказать что-нибудь новое. Обыкновенно я называл ему богатырские имена, какие знал, иногда рассказывал вкратце подвиги богатыря, а Рябинин тут же припоминал былну, или же предлагал вместо нее спеть другую: «Этой я, П. Н., не знаю, а вот спою тебе про Вольгу Святославича». Бывало и так, что он подолгу отказывался завести иную былну, потому-де что всея не помнил. Например, из старины о Садко и одного варианта о Потыке он знал только начало.

По хозяйству Рябинин «полномочный крестьянин»: у него хороший участок земли; но главный его промысел рыболовство, доходами от которого он уплачивает подати и кормит большую семью,

которой на год недостало бы своего хлеба при скучных северных урожаях. Учителей у Рябинина было несколько: иным былинам он научился от великого сказителя, дяди своего Игнатья Андреева, другим от какого-то петербургского трактирщика Кокотина. Этот Кокотин, большой охотник до былевой поэзии, читывал ему многие былины из рукописной тетрадки. В ней, например, было записано, как Добрынушке покрут понадобился для князя Владимира, и как этот богатырь ездил в чужие земли за дорогими шелковыми материями. От того же Кокотина Т. Г. слышал о Гальяке неверном — Федоре Иванове и сыне Владимировом. Но главный наставник Рябинина был Илья Елустафьев, память о котором и теперь сохранилась в Кижской волости. Был он первый сказитель в целом Заонежье и во всей Олонецкой губернии. Знал он несчетное множество былин и мог петь про разных богатырей целые дни. Заонежане любили слушать его и даже платили ему за сказание. Соберется бывало сходка, — мужики и говорят: «А ну, Илья Елустафьевич! спой-ко нам былину». А он на место ответит: «Положи-тко полтину, я и спою былину. — Тут кто-нибудь из богатых выложит ему полтину, и станет Илья Елустафьевич рассказывать. Занимался он, подобно Т. Г., рыболовством и знание свое оставил, кроме Рябинина, Кузьме Романову и сыну своему Иеву. От этого Иева Ильина несколько былин перешли в наследство внуку Ильи, Терентию Иевлеву.

Рябинин в молодости хаживал для рыбного промысла на Ладожское озеро и привык там видеть уважение и удивление к своему знанию былевой поэзии. В праздничные дни рыболовы обыкновенно собирались с разных судов в один круг слушать Т. Г. Если даже приходилась очередь Рябинину дежурить у лодки, так кто-нибудь из слушателей брал на себя исполнять его дело на сойме, а Т. Г. тем временем пел и рассказывал былины без умолку. «Если бы ты к нам пошел, Трофим Григорьевич, говорили рыболовы, — мы бы на тебя работали: лишь бы ты нам рассказывал, а мы тебя все бы слушали». У себя дома Рябинин не встретил уже такого внимания, потому что в Кижской волости Заонежья почти каждый смышленый старик знает или, по крайней мере, по содержанию помнит одну-две старины: сверх того и теперь еще живы другие ученики Ильи Елустафьева и иных знаменитых сказителей. Оттого Т. Г. при своем гордом и неподатливом характере, замкнулся под старость в самого себя и поет больше про свое семейство. Из детей его лучше всех выучился у него петь младший сын, Иван. — Вероятно из той же гордости, Рябинин не сразу поддался на приглашение Леонтия рассказывать перед приезжим и впоследствии, несмотря на мои усиленные просьбы, не согласился ничего взять с меня за науку. Когда я, на расставанье, подарил ему большой платок, то он сейчас же отдал меня шитым полотенцем и счел нужным объяснить как прием подарка, так и свое отдаение: «Когда, П. Н., друзья расстаются надолго, то у нас в обычай дарить другу другу на память даровья».

На третий или четвертый день приезда своего в Кизи я съездил с Леонтьем Богдановым в Лонгасы и отыскал Козьму Иванова Романова. Жил он со старой работницей в ветхой избушке на куриных ножках. С первого взгляда в нем бросилась в глаза мягкость характера и дряхлость. Белый как лунь, слепой, робкий, он говорил дрожащим от старости голосом и приветливым тоном, употребляя самые ласковые выражения. Знакомство наше с ним установилось без всякого труда: когда я передал ему, как много былин я перенял от Рябинина, и предложил ему тоже рассказать мне что-нибудь, он охотно стал петь былину за былину; начал он в своей избе, а кончил в доме волостного писаря, куда отправился ночевать.

Козьма Иванов будет девяносто лет и трехлетний стал темен глазами. Старик он доброго нрава, изредка только капризничает, как малое дитя; лета он свои немного утаивает и, по разговорам его, не прочь даже от женитьбы; ему-де всего шестьдесят годков. При этом он добродушно признается, что он гораздо старше Рябинина, а Рябинину явно за шестьдесят лет. Козьма Иванович содержит себя доходами с своего участка и ежегодным подаянием из Думы в шесть руб. сер. Участок у него нанимают и дают ему в год двадцать пудов ржаной муки, пуд соли, пуд крупы и три воза сена. Козьма Иванов даже держит для себя корову, за которой ходит старая работница. К деньгам он чувствует маленькую слабость и всячески старается скрыть, что у него есть кое-какая сбереженная копейка на черный день. При мне, на моих глазах, ему в собственные его руки давали по четыре, по пяти руб. сер., а он, в следующий приезд, уверял меня же, что ему «был даден в те поры один только рублик».

Петь научился Романов от рыболова Федора Яковлевича и Ильи Елустафьевича: от последнего он перенял «Вольгу», «Горе серое», «Хотена», «Дуная», «Упава добра молодца» и «Добрынюшку». В старину, по рассказам его, собираются бывало старики и бабы вязать сети, и тут сказители, а особенно Илья Елустафьевич, станут петь былины. Начнут они перед сумерками, а пропоют до глубокой ночи. Тут и Романов повышучился старицам.

К Рябинину Козьма Иванов явно ревнует и дивится, где это и когда это соперник его научился стольким былинам. «В прежнее-то время он-де знал самую малость и хаживал даже к нему, Романову, послушать былинок. А нонь люди, поди, толкуют, Рябинин-мол стал первым сказителем». Старик совсем забыл, что Илья Елустафьевич пел не про него одного, а про всех, про целое Заонежье.

Знакомство мое с Козьмой Романовым и Рябинином не кончилось этим разом. Хотя в следующие поездки мне удавалось быть в Заонежье редко и только проездом, однако я всегда успевал видеться с старыми моими знакомцами, и не без пользы для своего сборника. Так в январе 1861 г. я записал от Романова 5 былин. Сверх того, оба певца приезжали в Петрозаводск: Рябинин очень редко для покупки хлеба, а Романов раза два в год и более для получки из думы пособия. Всякий раз они заходили ко мне и всегда

почти пели свои былины «на послушанье» моим знакомым; а я между тем поверял свою запись, пополнял пропуски и окончательно устанавливал текст петых ими вариантов.

Теперь, кажется, мною записано все, что только помнят Романов и Рябинин. По крайней мере, во время последних свиданий, как ни старался я навести певцов на след какой-нибудь еще неизвестной мне былины или побывавшими, уже не мог от них добиться ничего нового. В 1862 году Романов припомнил только, что раз он слышал от Ильи Елустафьевича старину о том, как девица Кайдаевна (т. е. Маринка) вынуждала взять себя замуж — Добрынюшку, который загулял на ее подворье и заглянул в ее окошечко: «Если не возьмешь замуж за себя, спущу тебя в чисто поле туром-золотые рога». Припомнил он еще смутно о борьбе Ильи и Идолища. Спрашивает Идолище: «А каков у нас Илейко на святой Руси, по многу ль Илейка хлеба ест, по многу пьет зелена вина?» Ответ держит калика перехожая: — А ест хлеба *во славу Божию*, а пьет чару *честную*: — И возрадовалось Идолище поганое: «Нет сильного могучего богатыря!»

<...> При ближайшем знакомстве с певцами, я заметил, что они не всегда поют былины совершенно одинаково. Это происходит от разных причин. Сказители не сразу вспоминают иную былину, а старики иногда многое забывают, так например, Козьма Романов дряхлеет со дня на день и все меньше и меньше помнит стихов. Далее, сказители знают часто одну и ту же былину от нескольких учителей и, разумеется, только тогда различают варианты, когда они резко отличаются один от другого; когда же варианты близки между собой, тогда певец поет один раз былину по одному варианту, а другой раз по-другому. Например, в 1862 г. Рябинин пел у меня на дому былину о Вольге и так завел ее:

Жил Святослав 90 лет,
Живучись Святослав состарился,
Состарился и переставился,
Оставалось чадо милое,
Молодой Вольга Святославович.

Это начало, быть может, заимствовано из старины о Василье Буслаеве, но, может, оно принадлежит и особому варианту о Вольге. Наконец, у каждого истинного сказителя заметно его личное влияние на склад былины, он вносит в нее свой характер, любимые слова, поговорки. Чтобы убедиться в этом, стоит сравнить пересказы Рябинина, Романова и Иевлева. Возьмем, например, былину о Дунае, перенятую обоими последними певцами от Ильи Елустафьевича. Чему иному, как не характеру Романова, следует приписать, что он упомнил или внес от себя столько ласковых выражений и особенностей подробностей, опущенных Иевлевым. Почетный пир у него *пированьице, солнышко красное*, он предпочитает форму *«веки долгие коротати»*, припоминает, что обе дочери у короля на выданьи, что

Дунаю поручают свататься добрым словом, что Добрыня Никитич для других любимый товарищ, что Дунай для короля *прежняя слуга, слуга верная*. Самые распросы короля принимают у него мягкую форму: «Скажи, скажи, Дунай, не утай собою». Даже, когда король сажает Дуная в погреб, то в королевском наказе нет ничего грозного или злобного: «Пусть-ка во Литвы погостить, в погребу посидит, может, Дунай *догадается*». Между тем как у Иевлева король тут же выказывает замашки неумильные: «*Возьму-то я тебя за желты кудри*, посажу я тебя в глубок погреб: пусть-ка Дунай в хоробы погостит, тошто Дунай *образумется*». В свою очередь Иевлев, как зрячий, припомнил подробности, которые были неинтересны для слепца от рождения. На пиру «все были за столы посажены, и всем были кушанья наложены». После вызова Владимира «все за столом призамолкли, все за столом приутихнули, никто-то тут никакого словечка не вымолвил: больший туляется за среднего, средний туляется за меньшего, а от меньшего и отговору нет». Когда Дунай выпросил у Владимира товарища, то просит еще: «двух жеребчиков неезжаных, да и два седельышка недержаных, и две узды обе недержаные, и две плеточки обе не хлыстаны». Наконец, Дунай рассердился: «здынул-то он руки выше головы, допустил он до того стола до дубового, питья на столах проливаются, альни стол в щепья приломается, альни мать-земля да сколыбается». Если личное вообще влияние певца на былину неоспоримо, то, как бы ни установился у него пересказ, как бы ни закончились формы, все порою скажется и влияние личного настроения минуты: иногда певец употребит одни из своих обычных выражений и форм, иногда другие. Например, Романов сколько раз пел у меня одну и ту же быльну и всякий раз пел с небольшими вариациями, то кое-чего не доскажет, то сократит несколько стихов в один, то вставит новый стих.

После этого подробного рассказа о сказителях считаю нелишним перейти к некоторым общим положениям о народной поэзии.

В развитии народной поэзии следует различать несколько моментов. Бывает такая пора в народной жизни, когда поэтическое настроение и поэтический материал составляет состояние целого народа, и всякая живая, восприимчивая личность, при первом возбуждении извне, выделяет свое чувство или представление в поэтический образ и облекает его сейчас же в поэтическую форму, которая в ту пору под рукою у каждого. Таково, говорят, и теперь еще эпическое настроение Сербии. У нас на Руси, сколько я ее видел, подобное настроение бывает только у *женщин, лирическое, и в минуты сильного горя*. Выражение его — заплачки, в которые чувство выливается само собою на свадьбах, при похоронах, при отдаче детей или родных в рекруты. В Петрозаводском Заонежье и на Пудожском побережье каждая почти женщина умеет высказать ощущение своей скорби, или слагая новую заплачку, или применяя к обстоятельствам старую.

<...> В Повенецкой части того же Заонежья, как я уже говорил выше, заплачки слагаются не всеми; они образовали уже нечто за-

конченное и сохраняются особыми, почти официальными лицами, плакальщицами или вспленицами.

Второй момент развития народной поэзии представляет у нас песня. Она захватывает более или менее весь круг ощущений, свойственных и дорогих русскому человеку. Оттого почти в каждой личности из народа хранится такой запас этих песнопений, что посредством их крестьяне могут отзываться на каждое событие в жизни, на каждое движение в сердце. Но народного творчества тут уже нет, пора его прошла. Бесконечный запас песен большею частью своею принадлежит прошедшему и потому только доступен каждому крестьянину, что прошедшее это в главных чертах сходно с настоящим. Если заметны некоторые изменения в песнях вследствие условий местности и времени, то новых песен уже не слагается; я, по крайней мере, не знаю таких. Слыхивал я *новомодные* песни; но они лишены были всякого художественного достоинства и отзывались харчевнею, кабаком и передней, или же составляли явное подражание произведениям личного творчества.

Переходя к нашим былинам, припомним историю развития былевой поэзии у других народов индо-европейского племени. Вообще образование первоначального эпоса происходит еще в то время, когда письмена не изобретены или не в большом употреблении, когда человек, желая сохранить прошедшее в памяти, прибегает к размеру и напеву, и когда в стихотворную форму облекаются не одни предания и исторические воспоминания, но и законы, пророчества, предзнаменования. Сначала подвиги героев и события национальной жизни передаются потомству в коротеньких, отдельных героических песнях. Эти песни мало-по-малу группируются около любимых народных героев и образуют целые циклы разного времени и происхождения; циклы в свою очередь, под влиянием какого-либо господствующего мифа или преобладающей нравственной идеи, сближаются между собою и при участии личного творчества сплачиваются в эпопею. — Затем народные былевые песни мало-по-малу теряют свой поэтический характер, частью уступают место поэмам, рыцарским романам, частью переходят в сказки и лирические песни. На окраинах цивилизации, в захолустьях, они держатся дольше и, по слухам, например, песни о Сигурде, Брунгильде и Гегни сохранились на Фероерских островах даже до нашего времени.

Наша эпическая поэзия остановилась на первой ступени развития, былинах, и не успела перейти в эпопею. Зато многие былины, смотря по тяжести изображаемого ими быта и мироизмерения, сами собою сгруппировались в циклы: старших богатырей, Владимиров, Новгородский, Московский и Казацкий. Если взять все варианты последних четырех циклов вместе и отделить позднейшие вставки, то получится несомненно древняя основа, которая современна или близка по времени воспеваемым былинами событиям. Некоторые варианты так мало пострадали от времени, что пересказы, записанные в XVII и XVIII столетиях, в существенном не отличаются от тех, которые поются современными нам певцами. Но так как бы-

лины сохранились в памяти народа исключительно посредством устного пересказа, то, естественно, иные в форме своей и мелочах, другие в самом содержании подвергались в течение веков постоянным изменениям. Изменения эти разного рода. На одни из них можно смотреть как на естественное развитие былины. Так, многие старины дошли до нас и в первоначальном кратком виде, и в длинных пересказах, в которых предметы отдельных песен стали эпизодами. Некоторые варианты о Илье и Добрыне разрослись до огромных размеров и обнимают почти все подвиги воспетых ими богатырей. Другого рода изменения составляют анахронизмы, которые неизбежно вкладываются во всякое устное предание. Сюда относятся древние и позднейшие вставки в текст новых обычаяев, учреждений, названий оружия, чинов и проч. — Сюда же принадлежит приуроченье к времени Владимира таких событий, которые случились до него или гораздо позже него, и вообще замена богатырей старшего поколения младшими. Третьего рода изменение состоит в том, что подвиги богатыря стушевываются и обобщаются до того, что былина делается безыменною, а образ богатыря общим типом. Еще шаг, и старина теряет напев и разрушается. Такое разрушение иногда заменяется переходом в побывальщину, сказку или лирическую песню.

Итак, наше поколение застало былевую поэзию вполне сложившуюся. — После Московского периода появляются вновь одни исторические песни, былины же не слагаются вновь, а только сохраняются в народе посредством устного пересказа. В сохранении народного эпоса сначала принимают участие и городские обыватели, но с нынешнего столетия былевая поэзия передается от поколения к поколению исключительно памятью сельского населения и притом не по целой Руси, а преимущественно на *украинах*, в губерниях Олонецкой, Архангельской, Пермской, Оренбургской, Саратовской, Симбирской и Нижегородской.

В Олонецком крае былины сохранились между русским населением уездов Петрозаводского, Пудожского, Каргопольского, и в некоторых местностях Повенецкого, Вытегорского и Лодейнопольского. В последних двух они известны немногим, а потому явно забываются и переходят в побывальщины. Но в первых трех уездах и той части Повенецкого, которая прилегает к Пудожскому побережью, старины очень распространены и до сего времени усердно сохранились народом. — Во всех этих местностях каждый крестьянин знаком с содержанием былин и именами некоторых богатырей. В Заонежье и на Пудожском побережье у всякого смышеного пожилого человека отыщется в памяти одна-две былины, и хотя самто он полагает, что ничего не знает, — однако, при случае, вдруг припомнит какую-нибудь былевую песню. Главные хранители былин здесь *сказители*, а в Каргопольской стороне *калики*. Сказители поют по охоте, из любви к искусству, а калики по ремеслу. Первые научились своему знанию от знаменитых «досюльных» сказителей: Ильи Елустафьева, Игнатия Иванова Андреева, Федора Яковleva и других стариков, вторые от таких же стариков и калик. Сказитель

обыкновенно зажиточный крестьянин, земледелец, рыболов, содер-
жатель почетного двора. Как бы переход к каликам составляют пе-
рехожие певцы, большую частью портные, но и те имеют оседлость
и не нуждаются в деньгах, между тем как калики живут милосты-
нею. Научившись былинам от предков, певцы в свою очередь пере-
дают знание свое детям. Так Андрей Сорокин еще молодой парень,
а сказывает превосходно и выучился этому от отца. Сыновья Ряби-
нина, в особенности младший Иван, тоже многое переняли от Т. Г.
Но у большинства сказителей вряд ли найдутся наследники, и через
двадцать-тридцать лет, по смерти лучших представителей нынеш-
него поколения певцов, былины и в Олонецкой губернии удержанятся
в памяти у очень немногих из сельского населения.

¹ Статья «Заметка собирателя» П. Н. Рыбникова написана под непосредст-
венным впечатлением от проведенной им в Заонежье собирательской работы и
полностью опубликована впервые в III томе его собрания «Песен», вышедшего в
1861—1867 гг.

Перепечатано с сокращениями из книги: «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым». Т. I. Изд. 2. М., 1909, стр. LX—CII.

Павел Николаевич Рыбников (1831—1882) — известный этно-
граф, собиратель былин и других жанров фольклора. Вышедшее в 60-х годах со-
брание его «Песен» произвело переворот в деле изучения народной поэзии и дало в руки ученых огромный материал. Интерес к народному творчеству и его храни-
телям определялся прогрессивными настроениями П. Н. Рыбникова, сосланного в
Олонецкую губернию за участие в студенческом революционном движении.

² С щетками для льна.

³ Неличе — неприлично; лембой — черт.

ЛИТЕРАТУРА

Русское народное поэтическое творчество. Пособие для вузов. Под ред.
П. Г. Богатырева. Изд. 2. М., Учпедгиз, 1956, стр. 120—133.

М. К. Азадовский. История русской фольклористики Т. II. М., Учпед-
гиз, 1963, стр. 222—225.

А. М. Разумова. Из истории русской фольклористики. М.—Л., Изд-во
АН СССР, 1954, стр. 17—74.
